

Обещание и МИЛОСТЬ

1

За пять ночей до того, как стряслось несчастье, приснился Фиме сон. В половине шестого он открыл глаза и записал сон в книгу, куда заносил увиденные сны. Эта книга для записей в коричневом переплете всегда лежала подле кровати на полу, заваленная газетами и брошюрами. У Фимы давно уже завелась привычка записывать увиденное ночью, не вылезая из постели, когда сквозь щели жалюзи начинает пробиваться бледный рассвет. А если ночью он ничего не увидел или же попросту позабыл, то и тогда зажигал он лампу, затем, поморгав немного, садился в кровати, водружал на согнутые колени в качестве подставки толстый журнал и записывал, к примеру, следующее:

Двадцатое декабря — пустая ночь.

Или:

Четвертое января — что-то с лисицей и лестницей, но подробности стерлись.

Дату он обычно писал словами, а не цифрами. Затем вставал и, помочившись, снова укладывался в постель — пока не заворкуют голуби за окном, не залает собака, не защебечет совсем рядом птица, и в голосе ее он уловит изумление, будто она глазам своим не верит. Тогда Фима решал, что пора вставать, прямо сейчас, минуты через две-три, ну через четверть часа, не более, но засыпал снова и спал до восьми, а то и до девяти, ведь работа в клинике начиналась в час дня. Фима давно понял, что во сне меньше лжи, чем в бодрствовании. Понял он и другое: для него правда отнюдь не лежит в пределах досягаемости, а потому он хотел отдалиться, насколько это возможно, от той мелкой лжи, которой наполнена повседневность, серой пылью проникающей повсюду, даже в места укромные, укрытые от чужих взглядов.

Ранним утром понедельника, когда сквозь щели жалюзи просочилось мутноватое оранжевое мерцание, он уселся в постели и записал в свою книгу:

Появилась женщина, не красивая, но привлекательная, она не стала подходить к моей стойке в регистратуре, а напрямик прошла за стойку, а потом и мне за спину, вопреки надписи: “Вход только для сотрудников”. Я сказал: “Моя госпожа, вопросы — только перед стойкой, прошу вас”. Она засмеялась и сказала: “Слышали мы это, Эфраим”. И хотя у меня нет никакого колокольчика, я сказал: “Любезная моя госпожа, если вы не выйдете, мне придется позвонить в колокольчик”. Но и эти слова вызвали у женщины только смех, нежный

и мелодичный, будто журчанье тонкой струи чистой воды. У нее были худые плечи, чуточку морщинистая шея, но грудь и живот — нежные, округлые, как и икры, обтянутые шелковыми чулками со швами. Мое сердце вдруг тронул этот контраст между точеным телом и уставшим учительским лицом. “Есть у меня от тебя девочка, — сказала женщина, — и настало время, чтобы наша дочь познакомилась с тобой”.

И хотя я сознавал, что нельзя покидать рабочее место, что опасно следовать за ней, особенно босиком, ибо я вдруг оказался бос, внутри меня задрожало предвкушение, некий внутренний предвестник тревожил меня: если она левой рукой перебросит волосы через левое плечо, я должен идти за ней. И она, будто зная это, легким движением перебросила волосы со спины вперед, и они рассыпались по платью, укрыв левую грудь. Тут она сказала: “Пошли”.

И я последовал за ней, мы шли улицами и проулками, минуя парадные, ворота, ступая по каменным плитам внутренних дворигов испанского Вальядолида, однако я знал при этом, что по-прежнему нахожусь здесь, в Иерусалиме, в Бухарском квартале. Хотя эта женщина в детском хлопковом платьице, в будоражащих воображение чулках была совершенной незнакомкой, с которой я никогда в жизни не встречался, меня снедало желание увидеть девочку. И входили мы в ворота, пересекали задние дворы, накрытые сетью веревок, провисших под тяжестью белья, выходили в новые проулки и оказались наконец на какой-то старинной площади, освещенной одиноким фонарем, мокрой

от дождя. Ибо начался дождь, не сильный, не потоп вселенский, да и не дождь вовсе, а капли влаги, висящие в воздухе, растворяющиеся во тьме. Ни единой живой души не встретили мы по дороге. Даже кошки. И вдруг женщина остановилась, мы были в коридоре, сохранившем следы ветшающей, осыпающейся роскоши, — то ли вход во дворец в восточном стиле, то ли всего лишь туннель, соединяющий один мокрый двор с другим мокрым двором. У входа на стене — разбитые почтовые ящики, искрошившиеся изразцы; женщина обернулась и сняла с моей руки часы, указала на рваное армейское одеяло в углу, словно освобождение от наручных часов — прелюдия к обнаженности и теперь мне предстоит родить от нее дочь; и я спросил: “Где же мы и где же эти дети?” Ибо как-то так получилось, что во время нашего путешествия “девочка” обратилась в “детей”. Женщина сказала: “Карла”. Я не понял: зовут ли Карлой девочку или эту женщину, или же карла обозначает обнаженность худеньких девочек, или карла — призыв обнять женщину, согреть ее. И я обнял ее, все ее тело задрожало, но не от страсти, а от отчаяния, и она прошептала, преодолевая это отчаяние: “Не бойся, Эфраим, я знаю дорогу, я выведу тебя живым на арийскую сторону”. Шепот ее был преисполнен обещания и милости, и я снова поверил и доверился ей и пошел за нею с радостью и воодушевлением, ничуть не удивляясь тому, что она превратилась в мою мать, не задаваясь вопросом, где же “арийская сторона”. Пока не добрались мы до воды. У самой кромки, широко расставив ноги, стоял человек в темной форме, с желтыми,

типично армейскими усами. “Пора расстаться”, — прошепел голос.

Я понял, что ей холодно, что дрожит она из-за близости воды, что более я ее не увижу. И проснулся я с сожалением, но даже сейчас, когда я заканчиваю писать, сожаление переполняет меня.